

А. И.
ЭРТЕЛЬ

Сочинения



Александр Иванович Эртель

Жолтиков

«Протас Жолтиков человек был сердитый. Его понурое лицо с ввалившимися щеками и глазами, сердито и настойчиво устремленными на вас, носило на себе вечные следы желчного раздражения. Говорил он самые любезные вещи с видом крайнего недовольства и, объясняясь вам в своей дружбе, метал на вас самые враждебные взоры...»

Александр Иванович Эртель
Жолтиков

Случалось ли вам, господа, быть в лесу в пору ранней весны? Все напоминает еще о суровом зимнем царстве. Глаз проникает далеко в глубь леса. Корявые деревья, подобно остовам, мрачно протягивают обнаженные сучья свои, по которым то и дело пробегают звонкий весенний ветер. Черные пни и серый валежник в печальном беспорядке громоздятся здесь и там. Толстый слой поблекших листьев вяло шелестит под ногою. В оврагах синееет снег. В ложбинах с холодным сверканием бегут ручьи, обрамленные голыми берегами. Все повержено в какую-то меланхолическую тишину. От этих суровых дубов, недвижимо распростирающих узловатые свои сучья, от этих стройно сверкающих берез, в глубоком молчании столпившихся на краю вершины, от этих покоробленных осин и жидкого орешника с остатками желтой лапчатой листвы, слабо трепещущей на темных лозах, — веет какою-то щемящей печалью, свойственной всему, что носит следы разрушения... Но стоит, вам пристальней взглядеться в это царство запустения и смерти, стоит вам выйти на опушку да оглянуть голубую

даль, стоит вам глубоко вдохнуть воздух, звенящей струею перебегающий по мертвым деревьям, — и та печаль, которая, может, еще за минуту угнетала вас, заменится иным чувством, — жизнь обвеет вас могучим своим дыханием. Эту жизнь ощутите вы и в запахе, несущемся от леса, — в запахе, в котором с чарующею прелестью соединены затхлый аромат увядания и крепительная свежесть воскресающей природы. Эта жизнь повеет на вас и в переливах горячего света, который нет-нет и скользнет жидкими пятнами по стволам деревьев и по кустарнику перелеска; нет-нет и осветит приникшую в тайном ожидании глушь, как бы вызывая к пущему напряжению скрытые в ней жизненные силы... И силы эти с неустанным постоянством проникают каждую былинку, каждую лозу кустарника. Едва заметные розовые почки пестреют на липе и черемухе. В ветвях бледной осины повисли нежно пушистые червячки. Орешник усыпан темно-красными ростками. Там и сям, как бы украдкой, вылезает травка, пронизывая своим упругим острием толстый слой прошлогодней листвы. Теплые, сочные

тоны выступают сквозь шероховатую кору деревьев, и самый дуб как будто поступился суровым своим видом. Горький запах, распускающейся березы стоит в воздухе. Какие-то птички звонко пищат и бойко мелькают вдоль перелеска. Смеющийся луч прихотливо перебегает по деревьям, нагоняя улыбку на угрюмых великанов леса... Где-то за лесом звенит и булькает шаловливый ручей. Воздух прохладен и ясен... Вы слушаете... смотрите в каменной неподвижности... и чувствуете, как в груди вашей, сладостно стесняя дыхание, ширится что-то невыразимо хорошее; как что-то бодрое и здоровое разливается по вашим жилам, кровь стучит, и страстная жажда жизни обнимает все ваше существование.

Не знаю почему, но время, переживаемое нами с конца пятидесятых годов, всегда мне казалось похожим именно на это пробуждение созидающей природы. В воздухе холодно, и ласковое веяние весны еще часто перемежается морозами, а между тем страстное жизненное напряжение ощущается повсюду. Почки и ростки настойчиво проникают сквозь толщу всяческих нагноений, так щед-

ро уготованных нам скорбной нашей историей... Несомненно, разумеется, что много этих почек безвременно погибнет, а из иных пышно расцветет чертополох, и страстное жизненное напряжение произведет между прочим и крапиву... Несомненно — выползут на свет божий и такие продукты, что, подобно *Oxalis'y tropaeoloides*[1], до известной поры пребудут не без пользы, а затем сойдут в былку и, без зазрения совести, станут истощать почву. Но то уж дело будущего считаться и, проклиная почву, вырастившую дрянь, подводить итоги... Нам, современникам, приходится лишь констатировать и, заручившись каменным сердцем, с одинаковым хладнокровием обонять: пакость возникающую и безжалостно убитую морозом полезность.

Я на этот раз, минуя пакость, от которой, право, задыхаешься, и обходя с обычною нашему брату писателю осторожностью полезность, безвременно убитую морозом, займусь родом средним и представлю благосклонному читателю тот едва возникающий на нашей почве *Oxalis tropaeoloides*, который до поры до времени пожалуй что и полезность с успехом

заместит. Я разумею российского чистокровного рантьеера, и притом рантьеера с следами недавних мозолей на руках — рантьеера-выходца.

Еще не так давно между деятельным русским купечеством средней руки очень были редки люди, исключительно живущие на проценты с капитала. Жажда непрерывных стяжаний была велика в том сером человеке, который воистину горбом своим сколачивал капиталец. Такая несложная операция, как простое получение процентов, ему претила. Ему была непонятна идея капитала, входящего в русло, получающего неподвижную форму. И тысячником и миллионером он знал одно стремление — наживу, и один путь для этой наживы непрерывную практику, непрерывную игру ума и мускулов. Пассивное выжидание «сроков» и «граций» было не в натуре вчерашнего пахаря или прасола. Этот терпкий, вечно промышляющий человек как бы боялся всякой минуты, свободной от коммерческих козней, и был прав, разумеется, ибо в большинстве эта свободная минута неминуемо сопровождалась для него мрач-

ным призраком угнетающей тоски и отчаянного запоя. Кроме тоски и запоя, нечем было поправлять его досугу. Правда, бывали и тогда исключения из общего правила. Но если вчерашний прасол находил себе дело, помимо вечной погони за приумножением, и особенно если дело это заключалось хотя бы в самой робкой попытке проникнуть в таинственную область «теоретических» интересов, — на него смотрели как на блаженного. Кредит такого блаженного иногда падал с невероятной стремительностью, и, разумеется, падение это служило поразительным примером непригодности для купечества каких-либо интересов, помимо интересов кулаческих.

Так было недавно. Но что бы ни твердил обычай, всеразлагающий прогресс делает свое дело. Усугубляя авторитет коммерческих козней и доводя до степени даже неудержимого бешенства стремление к наживе, он, вместе с тем, и из области интересов теоретических кое-что облакает престижем. Вчерашняя «блажь» сегодня становится чем-то похожим на дело. Вчерашняя перспектива запоя и

невероятной тоски сегодня обещает времяпрепровождение, полное невинных приятностей. И вот как выразитель этого нового взгляда на «свободную минуту», проникает сквозь кору невероятной скудости купеческого мировоззрения новый росток — рантьер-выходец. Тип продукта этого еще смутен. Его покрывает еще некий туман. Но он, несомненно, возникает. Он крепится жуткими новостями дня. Он тонкой отравой считается в нелепом строе дикого кулачества. Он медленно, но непрестанно разъедает основы исконного мировоззрения, доселе господствующего в «рядах» и лабазах. Повторяю, он, подобно молодому *Oxalis'y tropaeoloides*, приносит пользу и, вероятно, еще много принесет ее, доколе в свою очередь не обратится в черствую былку и не войдет в роль «волчца», что в конце-то концов все-таки неизбежно.

...Все это прочтите, читатель, вместо предисловия. Теперь же простите за него и перейдемте к делу.

Одну из зим пришлось мне как-то, вместо хутора, провести в маленьком уездном городке. Квартиру снял я у купца Жолтикова. Про-

гас Захарыч Жолтиков торговлей не занимался, и деньги у него частью лежали в банке, частью ходили по рукам за умеренные проценты. Жил он с сестрою — старой девою весьма почтенного калибра и недалеких способностей. Квартирка моя отделялась от хозяев тонкой тесовой перегородкой. Таким образом, я был невольным свидетелем интимной жизни Жолтиковых, а они — моей, разумеется. Но нас это не стесняло, ибо государственные тайны не угнетали душ наших... Сестра, — имени ее я, право, не знаю, ибо любезный братец не величал ее иначе как «клуша» и «бревно», — с раннего утра принималась за хозяйство, то есть хриповатым басом ругалась с кухаркой, что-то скребла, что-то мыла... В результате к двенадцати часам получался обед. Брат тоже с раннего утра уходил из дому и до самого обеда слонялся по лавкам и лабазам. К обеду он приходил обыкновенно нагруженный новостями (преимущественно политического свойства), которые и сообщал сестре в промежутках недовольного брюзжания по поводу подгорелой котлетки. Изрядно отдохнув после обеда, он снова брал в руки свою велико-

лепную грушевую палку и отправлялся на базар; вечером же, за шипящим самоваром, снова происходило выгружение новостей, перемежаемое руганью на несчастное «бревно».

Протас Жолтиков человек был сердитый. Его понурое лицо с ввалившимися щеками и глазами, сердито и настойчиво устремленными на вас, носило на себе вечные следы желчного раздражения. Говорил он самые любезные вещи с видом крайнего недовольства и, объясняясь вам в своей дружбе, метал на вас самые враждебные взоры. Городок свой он всегда бранил, и бранил с неизъяснимой беспощадностью.

Но скажу несколько слов о городке. Он был в той же степной стороне, где и хутор мой, и, по обычаю всех степных городков, ни оживлением особым, ни особой привлекательностью не отличался. Зимой дикие степные вьюги заносили его сугробами; осенью в нем свирепствовала невылазная грязь и на площадях стояли лужи, похожие на озера, летом непрестанно клубилась горячая пыль...

Жизнь в нем — тоже по обычаю всех степных городков — сочилась вяло и тоскливо. В

клубе вечно винтили и дулись в рамс, в определенные дни перемежая карты дружным топотом неуклюжих ног под звуки скрыпиц, сдирающих кожу, и до остервенения ревущего контрабаса. В «рядах» в томном вожделевании покупателя передвигали шашки, смаковали новости и слухи и до изнеможения опивались чаем. В канцеляриях отчаянно скрипели перьями, сладко мечтая о наградных к празднику и об имеющихся соорудиться на эти наградные розовых галстуках и полосатых панталонах.

Так проводил время мужеский пол. Дамы, по своему обычаю, больше сидели дома и тоже проводили время без особенного разнообразия. Более бонтонные из них штудировали Золя и перелистывали Маркевича, восторженно говорили об изящных предметах с такими же бонтонными дамами, болтали с горничными о новостях околотка и важно рассуждали о преимуществах тройного рюша перед двойным и о превосходстве бахромы «с плюмажем» над бахромой простою... Дамы менее бонтонные спали и ели, пили чай и пили кофе, жевали шоколад и икали... а в про-

межутках играли «в носки» с горничными, заводили невинные интрижки со щеголем-писарьком из полицейского управления, сплетничали и мечтали о новой «ротонде» к празднику. Те и другие в определенные дни съезжались в клуб, толклись в кадрили и порхали в польке, кружились в вальсе и — нечего греха таить — иногда бегали и в мазурке. Все это дамы более бонтонные выполняли с манерой явной и пренебрежительной снисходительности, а дамы менее бонтонные — с явным же и даже несколько восторженным восхищением.

Глухие улицы жили на свой лад. Там дамы смутно еще подозревали о существовании рюша. Туда еще не проникала ротонда. Там велись горячие речи не о свойствах того или иного «мениардиса», а о «новой» моде, вышедшей на платки из берлинской шерсти. Там смена башмаков ботинками вызывала еще серьезные дебаты и старый вопрос о шиньонах заставлял трепетать сердца. Там кавалеры не винтили и не танцевали мазурку, а в будни обдирали кошек, в праздник же собирались у соседа и «стучали» по маленькой.

Только на вечеринках меланхолический «чи-жик» поднимал их в пляс, и тогда, с исступленными жестами и напряженным выражением лица, они отхватывали с жеманными девицами «кадрель».

В этих улицах сплетни и слухи с особенной настойчивостью будоражили фантазию обывателя. Часто эта фантазия, — бог весть какими путями соприкоснувшись, с какой-нибудь пустейшей телеграммой «международного агентства», еще год тому назад где-то и кем-то прочитанной по складам и сообразно этому усвоенной, — облекала ее каким-то мистическим характером. И телеграмма, воздвигалась до степени туманных и таинственных идеалов, в которых, бесспорно, сочилась и несомненная поэтическая струйка, но которые в конце концов все-таки поражали непроходимой наивностью.

Так вот какой город всегда бранил Протас Жолтиков и изливал на него свою горькую желчь.

Но за всей этой бранью мне всегда чудилась если не любовь, то жестокая привычка. Протас Жолтиков бывал и в Москве, ездил од-

нажды и в Питер, а в пору своей молодости не раз посещал низовые города, — и везде-то ему претило, везде казалось ему скучным, отовсюду тянуло в свой городок.

Я всегда с любопытством ждал обычного возвращения Протаса из лавок. Дома его ждал обед. Обыкновенно первое блюдо проходило в молчании, прерываемом обычными комплиментами по адресу «бревна» и смачным чавканьем губ. Затем начинали прорываться новости.

— В Харькове процесс интересный... — угрюмо и отрывисто говорил Протас. Сестра издавала какое-то неопределенное междометие. Но Протас и не ожидал от нее отзыва. Немного погодя он снова бросал словечко:

— Доктора убили... — и затем с такими же перерывами продолжал примерно в таком роде:

— Женин любовник убил...

— И поделом!..

— Сам стар — жена молодая...

— Купил, так любви не требуй...

— Тело закабалить легко...

— Душу не опутаешь...

— Душу не закабалишь, а озлобить — озлобишь...

— Захотели нравственности!..

— Вы кабалу-то прежде похерьте...

— Все прогнило насквозь...

Эти краткие словеса с сердитым шипением заедались щами, а за щами следовала новая серия отрывистых сообщений.

— Шульц уволен...

— Третьим отделением⁽¹⁾ управлял.

— Давно пора...

— Оно и «третье»-то уволить бы...

— Кошмары-то изготавливать будет бы...

— Пора бы свету-то...

И все в этом роде.

Все подобные новости Протас вычитывал из газет, по его настоянию не в одном экземпляре получаемых в «рядах».

Иногда за перегородкой происходило некоторое оживление. Это было обыкновенно вечером. У Жолтиковых появлялось постороннее лицо. Это лицо поражало смиренностью тона и предупредительностью выражений. И тогда завязывался следующий разговор.

— А слышали, Протас Захарыч, счастье-то

нас посетило?.. — умильно говорил посетитель.

— Какое счастье? — с обычной угрюмостью осведомлялся Протас.

— А такое, значит — особая комиссия устроена. — Чтоб, значит, расходы по царству сократить... Очень поднимают газеты эту комиссию...

Протас насмешливо фыркал.

— Ты это в какой газете вычитал?

— Да балуюсь, признаться... такой-то, — тут посетитель называл газету.

— Нашел газету!.. Ты ее брось... Там только перепечатки да насчет славословий ежели... А насчет славословий ты лучше псалтырь Давыдов купи...

— Э-э... А я ведь, признаться, полагал не так, чтобы насчет перепечатки... — смущенно лепетал посетитель.

— Нам славословия-то не нужны, — не слушая его говорил Протас, — ты нам дело подавай... Ты нам трезвый взгляд, чтоб... Ты проследи, как комиссии-то бывшие работали да какой от них толк был, да потом и хвали... Да про Европу-то нам расскажи: какие такие в

Европе комиссии заседают насчет эфтого... А канитель-то не разводи...

— А я, признаться, полагал — хорошая газетина, — настаивал посетитель.

Но Протас уж окончательно сердился.

— Тебе что от газеты-то требуется? — в упор спрашивал он.

Посетитель еще более приходил в смущение.

— Как что требуется... Мало ли делов от нее...

— Ну, да что, что, что?..

— Первое — бумага, чтоб... Ну, и слова ежели покрупнее... аль опять статейки, к примеру...

— Бумага!.. Слова!.. Статьи!.. — с неизъяснимой пренебрежительностью восклицал Протас, — много ты смыслишь... Газета — тот же человек, понял? Первое дело, ты за что Назара Аксеныча считаешь? (Назар Аксеныч — местный торговец «панским» товаром, человек замечательно честный.) За правоту, говоришь?.. Да, за правоту, за честь, за слово — раз что сказал отрезал... То же и газета... Вон я получал газету — ноне одно, завтра два. Семь

пятниц на неделе. Так разве я должен ее уважать?.. Я взял на нее да наплевал!..

— Э-э... — удивлялся посетитель.

— Ты вот говоришь, комиссию в газете хвалят. Вот прямо уж видна неосновательность. Как так, ничего не видя, хвалить?.. Ты посуди теперь: к нам исправник новый едет, с какой бы это стати ты его хвалить стал бы?.. Увидишь, хорош ежели — похвалишь. Так и комиссия... А без дела ежели хвалить — это уж прямо значит на ветер лаять...

— Э-э... А я ведь полагал: нехай ее... Мне абы побаловаться, да на обертку... К примеру, икры ежели в нее... Очень она способна для икры!..

Протас сердито фыркнул, чем окончательно приводил в смущение собеседника. Наступала пауза.

— Значит, стало быть, не одобряете мою газету?.. — робко осведомлялся собеседник после некоторого молчания.

— Не одобряю, — сухо ответил Протас.

— И, значит, другую ежели б, то — ничего?

— Как знаешь, — столь же сухо произно-

сил Протас.

— Ну, так уж и быть, — в заигрывающем тоне восклицал посетитель, разорюсь на другую... Куда ни шло!.. Только ты уж, Протас Захарыч, надоумь меня...

Протас еще несколько минут выдерживал характер и упорствовал в сухости, но, наконец, смягчался.

— «Молву»⁽²⁾ выпиши... — вещал он.

— Питерская?

— Питерская... А из московских ежели — «Русские ведомости»⁽³⁾; да смотри, не спутай — боже тебя избавь «Московские»⁽⁴⁾ выписать. Вперед говорю, на двор ко мне тогда не показывайся!

— Э-э... Что же так? — спрашивает опешенный посетитель.

— А все одно, ежели в «Раздевай» будешь ходить да с кабатчиком Аношкой дела водить... Вот что!

Посетитель моментально усваивал суть, ибо зазорность кабака «Раздевая» понимал ясно. Успокоенный, он несколько минут тянул чай молча и затем задавал такой вопрос.

— Ну что, Протас Захарыч, хотел я тебя

спросить насчет чумы эфтой, от бога ли она — вроде как за грехи, — или так?

— Чума?.. Чума — единственно от нашего брата... Ты на Волгу ездил? Ватаги видел? Ну вот. Чума, известно, болезнь. Да болезнь-то не барская. Сморится народ голодом, обнудеет как «парш» идохнет. Земли у народа нет. Хлеба у народа нет. Кабак без призора. Податей — гибель. Его и берет чума... Карантины, говоришь? Это вроде оцепки. Карантины — хорошо. Только не чума, так иное что. Чумы нет, тиф есть (Протас произносил «тип»), тифа нет — дифтерит есть. Плесень в гнилье не переведешь...

— Так бог тут — вроде как ни при чем?

— Ни при чем.

Опять длилась пауза. А за паузой снова вопрошал любознательный посетитель Протаса Захарыча:

— Протас Захарыч! вот война теперь была: как она, за что?.. Ишь, говорят, болгаре-то богачей, а мы за них животов лишались?

— За свободу война была. (Протас опять коверкал слово и произносил «слобода».) Есть у тебя богатство, да свободы нет, ты — вроде

как пенёк дубовый.

— Какая ж такая свобода?

— А коли паша какой-нибудь у тебя не висит на зашивке да коли начальство не помыкает тобою, вот и свобода. Захотел ты ежели сказать какое слово — говори без опаски: в кутузку не попадешь; задумал какие ни на есть порядки описать — пиши, запрету не будет, — вот свобода. Есть над тобой одна голова: закон, — ему покорствуй; дела свои разводи сам, детей учи по своей воле, богу молись — по своей совести, порядок наблюдай по своему разуму — вот свобода.

— Тэ-эк... Значит, вроде как бы у нас теперь?..

— Вроде как бы... И у нас настоящей нет. Не токмо у нас — немцы «всамделишной» не завели. А мы-то, еще погодим... Мы-то еще отроки...

— Как же это так: теперича у самих, чтоб настоящей свободы — нету, а другим добывать ходили?

— Доброта наша. Очень мы даже добры. Мы не токмо соседям свободу доставали, мы в старину, бывалоче, отнимать ее ходили... Что

лупишь очи не смыслишь?.. Венгерец захотел венгерцем быть, а мы ходили его бить за эфто... Мы били — австрияк вешал. Вот доброта-то наша какая!

— Значит, и теперь по доброте?

— Значит... Мужика-то у нас гибель, да мужик-то голодный, куда его девать? — вот ноне его венгерец жрет, завтра турка... Глядишь, в какой-нибудь Курской и посвободнело... Теснота ведь там...

Разговор переходил на мужика и его положение.

— Без мужика — пропадать, — говорил Протас. — Мы кем держимся? Мужиком. Баре кем держатся? — Мужиком же, казна — опять мужиком. Вот оно какая история! Мужика надо держать в сытости. Нам рука, если мужик сыт, и казне рука. Только барам да посевицам не рука. Сытый мужик им гибель. Ну, только мужика променять на господ никак невозможно. В нем сила. И его надо вызвлять. Теперь земли у мужика мало, — надо его сселить. Надо казенные участки мужику сдавать. Ты говоришь, купцы чем жить будут? Не сомневайся богатый мужик купцу

жить даст. С богатым мужиком и купцу и попу — всем лафа. Пьянствует он, говоришь? Пьянствует... А видал ты, чтоб зажиточный мужик в кабаке сидел? Нет, не видал. Пьянство дотоле, пока голод. Будет достаток, будет гульба, а не пьянство. Школы, говоришь, зря заводят? Зря. Грамота мужику не к делу. Грамоте учат, а читать не дают. Азбучку выучил, забросил азбучку, да и читай Францыля Венециана, а Францыля Венециана купить надо, а в доме соли нету... Не к делу грамота. Ты видал, как цепных собак кормят? Одной рукой хлеб суют, другой — палку, — пес-то пасть на хлеб разинет, а кормельщик псу не верит, думает — кусается, да палку ему вместо хлеба-то... Понял? Ты вникай. Вникай, говорю, я без дела врать не стану. Мужик с казной в прятки играет. То казне мужик медведем кажется, то казна мужику... Своя своих, значит, не познаша. А нет доверия — нет дела. Ты Ерофеичу доверяешь?.. Как не доверять, говоришь, приказчику? Так вот доверяешь ты, он тебе и слуга. И он в тебя верит. Ты его в прошлом году в Царицын за икрой послал, а расчет подошел, он не усумнился керосину ку-

пить. Значит, он в тебя верил, и с того вам обоим польза.

— Ах, век я не забуду этого керосина, — оживлялся посетитель. — Жду я, братец ты мой, Протас Захарыч, эту самую икру, и вдруг — ах ты калина-малина! — керосин припожаловал... Ну что ж, — я Ерофеичу ни слова. Я знаю, он без расчета не купит. Другой бы хозяин закапризился, а я ничего. Так и вышло: тыщу целкачей от керосина-то осталось!.. Как одна копеечка, тыща целкачей. Промысловый человек Ерофеич!..

— Не доверяй ты Ерофеичу, — он бы не посмел. Твоя прямая польза — а он ее не сделал бы...

В конце вечера, когда даже деревянная сестра сокрушительно начинала зевать, посетитель осторожно сводил речь с тем политических на иные. Ему требовались деньги. Он посылает Ерофеича в Москву. Ему хотелось бы прибавить товару в лавке. В банке он не желал бы кредитоваться. Но он мог бы предложить полпроцента выше банкового.

Протас обстоятельно выводывал свойства предприятия, осторожно смаковал степень

достояния, имеющегося у посетителя, затем писался вексель, и требуемая сумма выкладывалась из железной шкатулки. Отказов почти не бывало, ибо посетители не шли к Жолтикову зря, а предварительно разузнавали степень его доверия к ним.

Обыкновенно, провожая должника, Протас не забывал, как бы в виде шутки, повторить ему: «Смотри же, выписывай „Молву“-то!..»

Так как кредитом у Протаса пользовались почти все лавочники, то и немудрено, что в рядах и лабазах получалось много разнообразнейших изданий либерального характера. И каждое утро аккуратный Жолтиков, сердито шмыгая ногами и брезгливо фыркая носом, перечитывал большую часть этих изданий, а затем сыпал желчные комментарии на прочитанное, излагая их в обычной своей форме кратких афоризмов. Он ничего и никогда не хвалил. Он неустанно осуждал «мероприятия». Со злобой встречал «благие начинания». Раздражительно оповещал о компромиссах и уступках. К каждому светлому явлению, случайно попадавшемуся на страницах газеты,

он примешивал острый яд вечного недовольства и вечной недоверчивости. Надо было видеть, какая улыбка змеилась на его изможденных устах, когда он трактовал о подобном явлении... Зато явления противоположного характера вызывали в нем какое-то мучительное удовольствие. С мрачным наслаждением он посвящал своих слушателей в ужасы голода и безурядицы, варварства и бесчеловечия, в прелесть отношений глупых до жестокости и жестоких до глупости предприятий... Тогда скрипящий голос его дрожал и прерывался от какого-то внутреннего злорадства. Сверкающие глаза получали вид неизъяснимого презрения, и на желтых щеках выступал багровый румянец.

Споров он не любил, да и не мог спорить. Он для этого был слишком раздражителен. Посвящая своих почитателей в тайны либерализма, он не терпел от них возражений. Впрочем, в иное время он не мог избежать споров. Тогда вся фигура его являла вид замечательный. Презрительно прищуренные глаза наполнялись ядом; на искривленных губах блуждала недобрая улыбка; костлявые паль-

цы нервно сжимали палку; во всем теле про-
бегал видимый трепет, и какое-то лихорадоч-
ное дрожание обнимало колени... Он был
страшен. Он язвил противника, он отягощал
его массой унижительных предположений и
иронических намеков; он с каким-то захлебы-
вающимся шипением вонзал в него ядовитые
остроты... Не было меры, пред которой он
остановился бы, чтоб только уколоть, осмеять
противника.

Понятно, что ему приходилось больше
проповедовать, чем спорить. Авторитет его в
«рядах» был велик. Скептицизм преуспевал
во мнениях краснорядцев и бакалейщиков.
Многое и в общественной жизни и в полити-
ческой вызывало двусмысленную улыбку на
их лица. Молодежь особенно упражнялась в
вольнодумстве. Хлесткие фразы были в ходу.
Особый род щегольства состоял в том, чтобы
в каждом факте обрести тень.

Разумеется, все это великолепно ужива-
лось с злостными банкротствами и иными
предприятиями в коренном русско-торговом
духе. Область слова строго разграничивалась
с областью дела. В этом отношении и сам

Жолтиков был мнений «практических»: «Говорить — говори, — толковал он, — а дело помни!»

Были в рядах и «белые». Либералы именовали их «просвирнями». К ним редко заходил Протас. Но они тоже получали газеты. Политическая мысль, во всяком случае, росла и зрела. Ратуя против либералов, «белые» однако ж усвоили себе известную высоту мировоззрения. Они уж различали «направление». «Московские ведомости» и «Гражданин»⁽⁵⁾, «Современные известия» и «Новое время» они уж сознательно противопоставляли иным органам. Если и были некоторые колебания, то лишь относительно «Нового времени».

«Белые» были строгие консерваторы. Не только великим постом и филипповками, но даже и петровками они соблюдали сухоядение. Многие из них воздвигали колокола, а один даже целый храм соорудил (он банкротился шесть раз). Ходили они в длинных сюртуках и волосы стригли в скобку. Мазались деревянным маслом и избегали куренья. Сапоги преимущественно носили дутые и блестящие. Протаса почитали фармазоном⁽⁶⁾.

Я сначала редко бывал у своих хозяев. Но потом некоторые причины заставили меня участить свои посещения. Принимали они меня всегда одинаково. Всегда к моему приходу подавался самовар и на столе появлялось ежевичное варенье. И затем Протас начинал сердито излагать мне новости дня, а деревянная сестра неподвижно устремляла совиный взгляд свой в неопределенное пространство. Я выпивал чай и откланивался. Протас тыкал мне свою руку и раздражительно шмыгал ногами; сестра напряженно кривила лицо, изображая улыбку, и визит мой кончался. У них было мрачно и веяло скукой. Но скрипящий голос и желтое лицо Протаса, деревянная неподвижность и совиный взгляд сестры как нельзя более подходили и к мраку этому и к этой скуке. Даже носастый щегол в проволочной клетке и необыкновенно косматые растения на окнах не вносили диссонанса в общий характер квартиры, ибо щегол был мрачен и серьезен, а растения походили на решетку тюрьмы. Голые белые стены и меланхолические генералы, пестревшие на этих стенах, тоже являли вид печальный.

Иногда помимо посещений деловых, образец которых я представил читателю выше, к Жолтиковым заходили и гости. Я непременно присутствовал при этом. Подавался тот же вечный самовар, и то же вечное ежевичное варенье появлялось на столе. Самовар шипел, сестра тупо глядела вдаль, гости с важной медлительностью тянули чай, а Протас говорил и говорил... Все разговоры совершались на одну тему. Все прогнило. Нет ни совести, ни чести. Мужик одичал и спился. Администрация достигла степени невменяемости. Дворянство утратило всякое чувство нравственного долга. Купечество развратилось и насквозь проникается противообщественными вожделениями. Идеалы меркнут. Финансы гадки. Долги растут. Кредит падает. Земли расхищаются. Дифтерит губит девять десятых крестьянских детей. Церковь бездействует. Пожары, голод и кабаки свирепствуют по всему пространству Великой и Малой и Белой России... Гимназии плодят идиотов. Университеты парабощены. Интеллигенция отсутствует. Печать в оковах. Ужасный призрак «отделения» витает над умами. Честная

мысль цепенеет.

Гости дружно поддакивали, мрачно хмурили брови и пили чай. Когда же Протас умолкал, выступали на сцену подмывающие сообщения. Один сообщал, что в соседнем уезде становой перепорол целую волость; другой — что такой-то «батюшка» не берет за свадьбы менее двадцати, рублей; третий — что помещик Карпеткин распродал имущество целой деревни «за неотработку»; четвертый — что в селе Ольхах повымерла третья часть населения, пока спохватился приехать доктор... И до бесконечности. Горе и скорбь до того переполняли атмосферу, что чувство положительной беспомощности, казалось, безраздельно овладевало нами. Тьма окружала нас со всех сторон. Ни одна струйка света не пронизывала угнетающей тьмы. И Протас с мрачным самодовольством упивался этой атмосферой отчаяния. С неизъяснимым видом многозначительного торжества терзал он нервы слушателей. Но наступала пауза, и Протас смягчался. Широкий и светлый луч внезапно пронизывал ужасную тьму. Не о струйке, но о потоках ослепительного света

говорил Протас... только в приложении к будущему. В противоположность многим отрицателям, он имел и нечто положительное. Это «положительное» заключало в себе универсальное средство против всех зол, по мнению Жолтикова. И когда с видом важной решимости он сообщал своей аудитории ту степень свободы, которая, по его мнению, необходима, аудитория дружно подхватывала заветное словечко и хором раздражалась успокоительными возгласами. Мрачные лица прояснялись. Напряженное воображение входило в русло... А Протас сидел как жрец и сверкающим взором обводил гостей!..

И тогда темы политические уступали место узкожитейским. Велся разговор о банке, о директорах банка, о голове, о полиции, о ценах на рожь и овес, о «жидах», заполонивших торговые пункты... И тут уже речи не было о либеральных принципах. И «жиды», и рожь, и исправник трактовались с точки зрения исключительно местной, купеческой, и только. Правда, и здесь иногда прорывалась хлесткая фраза, но роль этой фразы была уж откровенно декоративная. У жолтиковских гостей бы-

ло два масштаба: один для государства, другой для их тесного круга.

Но это не вносило разлада в их души. Над ними витало благодатное отсутствие логики. Личность с легким сердцем противопоставлялась ими государству. В теории государство казалось им врагом, но на практике они взывали к нему, как к силам всемогущим, и, конечно, если бы ощущали в нем плоть от плоти своей, — совершенно успокоились бы. Раздражение, ими испытываемое, большею частью было искусственным, напускным раздражением. Правда, известная степень его имела несомненную почву. Это — та степень, которая вызывалась неудобствами непосредственными. Все же то, что возбуждалось по рефлексии, было непрочное. Вот почему так легко совершался у чайного Протасова стола переход от вольнодумства к господину Кокореву⁽⁷⁾ и заграничный метр в руках заменялся отечественным аршином.

Бывали в числе гостей люди и с более развитой логикой. Мне особенно памятен один. Он был единственным сыном того самого купца, который после шести удачных банк-

ротств воздвиг церковь. Он ходил тайком к Жолтикову. Это был юноша лет девятнадцати, бледный и стройный как тополь, с мягкими чертами лица и мечтательным взглядом. Он больше всех молчал, но, кажется, и более всех внимал речам Протаса. Интересно было смотреть на его чутко-внимательное личико, когда Протас, подобно Мефистофелю, изливал свой яд на все и на вся. Такая истома в то время отпечатлевалась на этом личике, такая внутренняя мука зажигалась в темных глазах юноши, что было больно. Но когда Протас предъявлял свою рецептуру и, как шарлатан на ярмарке, сулил золотой рай от одного только слова «эврика!», лицо юноши загоралось восторгом и какая-то тайная решимость напрягалась в его взгляде... Юношу звали Харлампием.

Аудитория расходилась поздно. Кроме чая, ничего не подавалось. Я и позабыл в свое время сказать о чрезвычайной скупости Протаса. Несмотря на весьма-таки кругленький капиталец, он ограничивал себя во всем. Для чего он копил деньги, — не понимаю. Думал я сначала, что он, соответственно своему либера-

лизму, уделяет из них на нужды граждан. Ничуть не бывало. Когда ходила по городу подписка на стипендию одному юноше, без всяких средств добравшемуся до третьего университетского курса, а на третьем курсе схватившему голодный тиф, — Протас подписал менее всех. На библиотеку для города он тоже пожертвовал только четвертак. Были и еще случаи.

...К концу зимы Харламбий особенно часто стал посещать Протаса. Он все по-прежнему молчал, в благоговейном восторге внимая речам Жолтикова. Только раз, каким-то непонятным для меня процессом, он доведен был до степени относительной беззастенчивости. Как сейчас помню, это было в начале марта. Солнце уже сильно пригревало, и среди дня на дорогах стояли лужи. В воздухе веяло чем-то мягким и вместе раздражающим. Дали особенно просветлели. Голубые леса резкой чертою обрамляли снежное поле... На дворах теплился навоз и хлопотливо кудахтали куры... В такую пору какая-то тоска сладко стесняет грудь и заманчивая даль мучительно зовет к себе... И тогда Харламбий беспрерывно пре-

рывающимся и дрожащим от внутренней тревоги голосом произнес перед Протасом что-то вроде исповеди. У него изболела душа и изныло сердце. Отцовский деспотизм и семейное лицемерие измучили его. Ему претят и кажущаяся строгость морали, и колокола, и молебны, и двусмысленные торговые предприятия. Аромат деревянного масла и восковых свечей захватывает ему дыхание. Ложь, что проникает все дела и все помышления родных и близких, истомила его. Ему противна обстановка. Его волнуют грешные мысли. Ему мерещится таинственная даль и влечет к себе что-то неведомо страшное...

Я и теперь без тоски не могу вспомнить эту исповедь милого юноши. Это было днем. Протас был один в своей комнате. Щегол издавал меланхолический писк. Косые солнечные лучи умирающим блеском скользили по скучным стенам. Протас молчал, а юноша говорил, и говорил... Он с какой-то лихорадочной торопливостью обнажал свою душу. Голос его то звенел напряженным звоном надтреснутого стекла, то переходил в глухие рыдающие ноты. Наконец он замолчал. Наступ

пила и длилась добрые пять минут невыразимо тяжелая пауза. Тогда заговорил Протас. С бессердечием хирурга наносил он удары самым «сокровенным» юноши. С опытностью мастера начертил он картину будущих его отношений к семье и к обществу. Двоедушие, глубокий внутренний разврат, необузданно извращенная воля, грабеж, называемый торговлей, дешевое умиротворение совести посредством иконостаса или оклада на икону, угнетение бедняков, скудость мысли, узкие до пошлости интересы — все входило в эту картину, заполняя ее непробудной тьмою.

Каждый штрих, намеченный Харлампием в его исповеди, Протас с каким-то беспощадным наслаждением растравлял ядом самых необузданных представлений. Харлампия погружало в отчаяние настоящее. Протас представлял ему будущее. Он терзал его молодую душу с непоколебимой настойчивостью. Он безжалостно срывал перед ним завесу с той роли, которую невольно даже обязаны изображать и отец Харлампия и подобные ему. Он представил их как язву, разъедающую государственный организм; как казнь египет-

скую, ополонившую ужасом сердца народа. Народ, по его словам, был труп, в котором безвозбранно свили себе гнезда гады, подобные его отцу. В тоне Протаса уже не слышались обычные брюзгливые ноты, голос его не скрипел и не прерывался раздражительным фырканием. Какой-то внутренний жар проникал этот голос крепким звуком меди, и сердитая брюзгливость тона заменилась важным и величественным гневом. Он походил на пророка.

Я не дождался конца сцены и ушел из дому. Возвратившись, я застал у себя Протаса. Лик его представлял воплощенное торжество.

— Слышали? — с нескрываемым видом самодовольства спросил он.

Я сказал, что слышал.

— Вот они, времена! Отец — миллионер, а сын-то вот оно что... Единственный ведь сын. Что совесть-то означает: в дебри пролезать начала!

— Так-то оно так, да вы, кажется, чересчур уж растревожили юношу — не сделал бы он чего?

— Чего сделает — мальчик. Ему бы по-на-

стоящему с указкой сидеть. Письма не умеет написать... А что затеет ежели, — у отца и плеть есть. У них ведь это просто. Тьма! Застой! Рутина!

Несмотря на то, что Жолтиков, по-видимому, не придавал важности моим предположениям, его все-таки посетило некоторое беспокойство. Все сумерки он проходил одиноко в своей комнате, угрюмо напевая «Святой боже». Самые шаги его, необычно тяжелые, изобличали беспокойство. А улегшись на сон грядущий, он долго ворочался, не засыпая, и даже неоднократно кого-то здорово обругал.

На другое утро, не успел еще Жолтиков уйти в обычную свою экспедицию, как неожиданно-негаданно явился Харламбий. Я видел его, когда он прошел по двору. В длинных сапогах и в полушубке, с маленькой сумкой под мышкой, он имел вид человека, собравшегося в путешествие. Радостно взволнованное лицо его горело застенчивым румянцем. Широко раскрытые глаза блестели подобно глазам сокола.

Протас, очевидно, не ждал его. Когда он произносил обычное приветствие, голос его

являл некоторую сухость. В нем даже трепетали явно неприязненные нотки.

— Проститься к вам пришел, Протас Захарыч... — возбужденно заговорил Харлампий, по-видимому не примечая в Протасе особого настроения духа.

Тот был поражен.

— Как проститься? Что такое? Что ты задумал? — вскрикнул он как уязвленный.

— Еду. Пущусь на счастье... Авось добьюсь чего-нибудь в Питере!

— В Питере! Ах, безумный... Ах, беспутный ты... Николай Василич, слышите вы? Идите сюда, остановите безумца... уговорите его!.. Он пропадет... Он погибнет... Он убьет отца!

Я поспешил к ним. Юноша, еще недавно казавшийся таким радостным, имел вид печальный. С каплями слез, застывших в красивых глазах, бледный и смущенный, он как-то растерянно смотрел на Протаса. Его мешочек сиротливо покоился на полу, у дверей.

А Протас порывистыми шагами измерял комнату и в необычайном беспокойстве потирал руками. Взор его полон был злобы и смущения. Пренебрежительная усмешка ис-

кривляла губы.

— Представьте, уйти хочет! — встретил он меня. — Уговорите его, убедите... Растолкните ему, что он осёл... Скажите ему — негодяй он... Как! — убить отца... убить мать... Почтенных людей... уважаемых в обществе!.. Скажите ему это... Спасите его, дурака!..

Юноша разразился рыданиями.

— Сами же вы, Протас Захарыч... Сами же вы вечно говорили... Я жить хочу... Я не могу больше... Я учиться хочу... Я в университет желаю! сквозь слезы восклицал он.

— Олух!.. Глупец!.. Я говорил ему!.. Я его научал!.. Дубина ты этакая, — я разве тебя учиться посылал... Куда ты годишься?.. Ты двух слов грамотно не напишешь... А! в университет захотел!.. Ах ты, оглобля... Ах ты, дубина еловая... Какие же ты права-то имеешь? Где у тебя документы — покажи!.. А? Он жить хочет... А отец с матерью не хотят жить?.. А торговля станет, а убытки через тебя, мерзавца, а?.. Это ты ни во что не ставишь?.. Ты теперь на, чей это счет в Питер собрался?.. Какие-такие у тебя капиталы? а?.. У отца наворовал?.. А отца уморить хочешь... Болва-ан,

тебе уж двадцать лет, болва-ну-у... Тебе уж отца-старика пора переменить... Проститься!.. Ах, ты... Да знаешь ты, что тебя в полицию бы по-настоящему... У-у-у... — и в бессильной ярости Протас затопал ногами.

Действие этой реплики было поразительное. Харламбий с каким-то неодолимым вниманием устремил странно неподвижный взгляд на лицо Протаса. Он, казалось, следил за движением его губ. Изумленно расширенные глаза его изображали ужас... После сумасшедшей выходки, закончившей необузданную реплику Протаса, он вдруг как бы спохватился. Мелкие слезы брызнули из его глаз. Он стремительно вскочил со стула, схватил свой мешочек и, пролепетав что-то невнятное, убежал из комнаты.

А Протас долго не мог успокоиться. Долго он ходил по комнате, изливая мне свои жалобы.

— А? — каков!.. Еще не обокрал ли отца-то!.. Вот положение... Ей-богу, за потатчика прослывешь!.. Не чаял, не гадал, в уголовщину влопался... Я говорил! — передразнил он Харлампия, — ведь такой болван!.. Я говорил

вообще... Я говорил о политике, — а он вот куда метнул... Каков олух!.. Да нет, этого нельзя оставить, надо к отцу бежать... Очень легко влопаешься!.. Влопаться очень даже удобно... Ах, ты... Вот щенок-то!..

Он наскоро оделся и действительно направился к отцу Харлампия.

Не знаю, что происходило там и какими именно мерами укрощали некстати предприимчивого юношу. Но весной, в конце апреля, он все-таки убежал от отца. Пребывание его долго оставалось неизвестным. Уже много спустя узнали про него, но тогда было поздно: ни домой, ни даже в университет возвратить блудного сына было невозможно...

Весною же неожиданно переселился в «сени мирные» и Протас Жолтиков.

Переездка моя на хутор затянулась, и последние дни Протаса прошли передо мною во всей их безжалостной поучительности. Умирал он в мае. В комнату, где лежал больной, непрестанно врывалось солнце и проникал сладкий аромат сирени. В соседнем саду неутомомно щелкал соловей. До самых последних дней Протас лежал в мрачном мол-

чании, терпеливо принимал лекарство и без раздражения сносил присутствие сестры. Когда у постели его собирались знакомые, он просил их говорить много и долго и с особенным удовольствием слушал. Сначала его стесняло солнце и утомлял яркий блеск майского неба и запах сирени, но потом он приказал придвинуть постель свою к окну и целые часы пребывал в каменной неподвижности, внимая звукам, несущимся в открытое окно, жадно вдыхая аромат сирени и подставляя желтое лицо свое, с резкими, угловатыми чертами, ласковому солнечному лучу. Настроение его казалось спокойно мрачным.

Но в одну ночь это внезапно изменилось. Быстро последовали припадки ухудшения. Болезнь с неумолимой настойчивостью стала разрушать изможденный организм. Мрачное спокойствие покинуло Протаса и заменилось отчаянием. Он то в каком-то слепом бешенстве изрыгал проклятия, то малодушествовал и трогательным шепотом произносил молитвы. Умирая, он потребовал, священника. Но отойти с миром не довелось ему. Когда жизнь уже окончательно потухала в нем и пред-

смертный холод начинал леденить члены, пароксизм бешенства овладел им. Неестественно сильным движением он приподнялся с подушек и со стоном и скрежетом зубным потрясал иссохшею рукою, кому-то грозя, кого-то проклиная... Упал он уже безжизненный...

А солнце до конца не изменило ему. В час смерти оно обильно и щедро заливало светом его комнату. В открытое окно, с торжественной медлительностью, врывались звуки далекого благовеста. Легкий ветер нежным шорохом разбегался по кустам сирени, и соловей разливался серебристыми трелями.

Деревянной сестре досталось пятьдесят тысяч.

Примечания

1

Кислица настурцевидная (*лат.*).

[^^^]

Комментарии

Третье отделение стало как бы символом политики, проводимой царским самодержавием, политики подавления всего передового, честного. В Третьем отделении, заведовавшем полицией, сосредоточивались все дела по политическим процессам.

[^^^]

«*Молва*» — ежедневная газета либерального направления, издававшаяся в Петербурге (1879–1881).

[^^^]

«*Русские ведомости*» — общественно-политическая газета (1863–1918), орган либеральных помещиков и буржуазии.

[^^^]

«*Московские ведомости*» — газета, являвшаяся выразителем реакционной идеологии русского самодержавия; с 1863 по 1887 год ее издавал М. Н. Катков.

[^^^]

«Гражданин» — реакционная газета-журнал, выходившая в Петербурге с 1882 по 1887 год под редакцией князя В. П. Мещерского.

[^^^]

Фармазон — искаженное: франкмасон, сокращенно масон. Масон, или франкмасон, — иначе вольный каменщик, член религиозно-философского общества, основанного в Англии в начале XVIII века по образцу средневековых строительных цехов и затем распространившегося на всю Европу. Не отрицая религии, масоны боролись с клерикализмом, были за широкую терпимость, объединяли людей разной веры и национальностей на началах братской взаимопомощи.

[^^^]

Кокорев Василий Александрович (1817–1889) — откупщик, крупная фигура в среде русской торговой буржуазии периода крестьянской реформы, обладатель 7 миллионов к началу 60-х годов. В период общественного подъема после Крымской войны Кокорев выступал с либеральными речами, высказывался за отмену откупов. Салтыков-Щедрин в своих сатирах едко высмеивал этого либеральствующего откупщика.

[^^^]